

**Сердечно поздравляем с 70-летием Валерия Николаевича Шелегова
с искренним пожеланием новых творческих успехов, каскада идей
и их воплощения, всех милостей Божьих, тысячи поводов
для радости и счастья, а от них и здоровье крепится!**

Валерий Николаевич Шелегов – родился 13 декабря 1953 года в городе Канске. После окончания средней школы № 6 в 1969 году поступил в Томский геологоразведочный техникум. В 1972 году улетел работать в Магадан. На Крайнем Севере прошла вся жизнь. В Усть-Нере работал в ВИ-ГРЭ геофизиком, геологом на штольне в разведочной партии. Работал охотоведом Оймяконского района. В золотодобывающей артели «Мир». В 1996 году вернулся на родину – в Канск. Прозаик, поэт, публицист. Выпускник Литературного института им. А. М. Горького в Москве. Первый рассказ «Санька – добрая душа» был опубликован в 1984 году в журнале «Дальний Восток» № 4. Автор книг: «Ленские подснежники», «Зелёный иней», «Пока горит костёр Звезды небесной», «На Индигирке», «Оймяконский Меридиан». Книга прозы «Луна в Водолее» отмечена Русской национальной премией «Имперская культура» им. Э. Володина. Член Союза писателей СССР. Живёт и работает в городе Канске Красноярского края.



ТЯЖЕЛО...

Рассказ

*Учителю Лобанову Михаилу Петровичу,
профессору Литературного института
им. А. М. Горького п о с в я щ а е т с я*

Тяжело руководить государством

Отца я помню так, как прожитый рядом с ним один день: от рассвета, когда я ждал его постоянно с работы школьником. В зрелые свои годы, когда, наезжая в отпуск с Севера, дневалил с ним на даче. Виктор Комар, его друг, держал в те годы на даче пчёл. Медовуха у мужиков не переводилась. Поздним вечером, бывало, отец шёл от Комара, опираясь на плотный заплот ладонями, ворчал: «Тяжело руководить государством...», руками определяя свою дачную калитку.

Руки у отца были талантливые, красивые. Короткопалые, мощные в кулаке, вены крупные и притягивающие своей красотой взгляд. Комар держал в те годы на даче овец и корову. Сам пас. Утром отец «умирал» тяжело, вяло передвигаясь по даче. «Борьба с пьянством» в государстве обернулась усиленной «борьбой» государства с крепкими мужиками. Я подрабатывал тогда спецкором по Дальнему Востоку от московского еженедельника «Литературная Россия».

Удостоверение спецкора солидное. Учился в Литературном институте в Москве. Смотреть на похмелье отца было больно. Поехал в город и, чего я для себя никогда не позволял, пользуясь «корочками» спецкора, в «Горизонте» добыл для отца пару чекушек. Водка была по талонам. Чекушку выставил к обеду.

– Да я уже отошёл, – оправдался отец. – Витьке вот какво сейчас в поле с овцами.

«Гуляли друзья», по словам мамы, на дачах часто. Отец на пенсии, но подрабатывал сторожем. На дежурстве отец никогда не выпьет водки. Всю жизнь, где бы ни служил делу отец, для него работа была религией.

На даче отец держал кроликов, собачку. Траву для кролей постоянно косил в пойме Кана.

Последние пятнадцать лет до пенсии отец работал кочегаром в котельной на Канской табачной фабрике. Дачные земельные участки в пойме Кана выделила Табачная фабрика своим работникам. Отец поставил на земельном участке шесть соток домик из бруса, пристроил из досок летний гараж для мотоцикла с люлькой. Обшил «вагонкой» дачный домик и покрасил вместе с забором зелёной краской. За двадцать лет дача обстроилась до домашнего уюта. Бывая в отпуске, я жил летом на даче с отцом.

После работы на табачной фабрике отец ходил на железнодорожную станцию калымить. Дома скотину держали: комбикорм, лузгу машинами отец добывал. Мама всю жизнь домохозяйкой прожила. Лишнюю копейку взять негде: кабанчика к ноябрьским заколют – осмолят, часть мяса продадут, мне и сестре обновки к школе.

Всё это я вспоминал в прохладе дачи за столом с отцом. Дверь веранды открыта, виден дворик под высокой сиренью. В углу собачья будка, двор застелен плахами, штaketник защищает цветник. Жаркий день. Дворняга прячется в своём логове, усунув морду между лап, наблюдает за своей чашкой. Мертвяком лежит в будке: воробей поскакивает вокруг собачьей площадки, крохи выклёвывает с ободка.

Дачный забор вровень человеческого роста. Соседский кот неслышно спрыгивает с крыши на верстак, скрадывает воробья. Дворняга видит кота, напрягается. Мне хорошо виден летний дворик, залитый июльским солнцем: зелень сирени, морда собаки в будке и беззаботный воробей. Кот прилёт, готовый к прыжку. Но не успевает. Дворняга вырывается из будки на кота. Кот перемахивает через верстак на забор, оттуда на крышу дачи. Пси́на уходит ворчливо в будку. Воробей возвращается к собачьей миске.

– Вишь ты, – говорит отец. Он тоже видел всю эту сцену. – Барсик не даёт воробья коту поймать.

Он уже «освежился» из чекушки. Смотрит на остатки застолья.

– Убери, а то мать хай поднимет. Вечерком...

Отец уже изрядно лысый, но короткая шёрстка от висков и под затылком ещё черна, как в молодости. И сам он был молодым красивым чернявым парубком. Бабушка моя Христина, в девичестве Пушкина, чернявая казачка-красавица. Каждое лето, после школы, я отправлялся в Егоровку – в деревню отца за Абаном. Бабушку Христину любил отроком, как и отца. Если не слухаю её, пригрозит: «Батьке зараз пожалюсь». Всматриваясь в отца, всегда вспоминалась бабушка.

Отец малоречив, рабочий человек с четырьмя классами школы. Но речь всегда правильная, обходился без матерщины. В детстве, когда я ловил его взгляд, сердце заходило от щемящей истомы и тоски. Достигнув зрелых лет, я стал понимать, что это чувство и есть моя любовь к отцу. До слёз при памяти о нём, даже когда он жил на земле, а я скитался по Северу. Взгляд его потрясающих душу глаз, карих, чистых в глубине зрачка, как виноградины, мне всегда чудился рядом. Казалось, резко обернусь и увижу эти наполненные глубоким смыслом и печалью глаза. И было, оборачивался. Мгновение – глаза отца виделись, а слёзы начинали подавливать горло. Отец был прост, как сама жизнь. И непостижимым, как сама жизнь.

Приезжал он ко мне и в «учебку» на первом году службы в Читу. О чём мы могли с ним говорить? Мы всегда при встречах молчали, понимая наш «разговор» без слов. Молчали часами и на даче, дополняя присутствием один другого. Когда мы были вместе, мы составляли единое духовное пространство. Приезжал ко мне отец и на Крайний Север. В молодых годах не понимаешь любви родителей, я был и рад и потрясён его приездом на Индигирку. Две пересадки самолётами. Даль такая от Канска, что порою казалось, что этого Канска нет вообще на этой земле. Родина и детство остались где-то в другом измерении. Молодая семья, комната восемь квадратных метров, углы промерзают льдом и прикрыты для сохранности тепла оленьими шкурами. Барак постройки сороковых лет. Крайний Север...

– Хе?! – при жене мы молчали. Остались одни, отец предложил: – Поедем, сынок, домой.

Улетел он в конце недели. За всё время мы и сотней фраз, общаясь, не обмолвились: и так всё ясно.

Внуков своих отец любил. Обожали и они его: молчун ласковый. «Деда добрый». Вот и весь сказ. До школы моих детей поднимала мама. Работали мы с женой в полевых партиях, весной я привозил их к родителям в Сибирь с Индигирки. В ноябре прилетал за ними и вёз самолётами, с двумя пересадками, обратно в Усть-Неру. Лето дети проводили под строгим присмотром бабушки. Но и дед не отлынивал. А за ним, что за малым дитём, тоже глаз да глаз был нужен, жаловалась мама при встрече.

– Дача на моих руках. Оставлю деда с детьми, а сама поливать дачу еду. Он, леший, младшую Анну на руки – да к дружкам своим. Приеду, спрашиваю старшенькую: где дед с Анютой?

– А вон он идёт, с Анной на шее, – покажет ручкой Шура. – У меня и сердце останавливается: сам – никакой! Анютка на шее сидит, ножки свесив, обовьёт ему шею ручками. Бегу, приму с его спины Анну, а он, почувствовав, что внучка уже не с ним, и пойдёт, и пойдёт ногами вить петли до лавки. Упадёт, было, без соседей его уже после в квартиру не поднять. Но пока с Анькой на руках, или Шура была маленькой, стоит крепко на ногах.

Рассказывала мама подобные истории каждый год и при отце в застолье. Дети счастливо, за деда радуясь, смеялись. Отец улыбался так широко, как рисуют дети улыбку у солнышка. Поразительно эта улыбка напоминала улыбку солнышка на детских рисунках моих детей: от уха до уха.

Отец казачьей породы по линии матери, Пушкиной Христины Антоновны. На фотографиях в молодых годах с чернющими усами. Всю жизнь такие же усы – чернющие – носил в молодые годы и я. Подозрительно спрашивал народ, не крашу ли их я. Такие ярко-чёрные и блестящие, как уголь-антрацит. Невольно я подражал отцу. А подражать было за что.

Мама всегда воевала с отцом за выпивки. Но без ненависти, с какой-то особенной гордостью всегда рассказывала о том, чего я не мог знать и видеть, когда меня ещё не было на свете и когда жил на Севере. Судьба меня вела по кругам адовым труда и познания, порой так лукаво-близко с отцовским пройденным путём и его замечательным опытом, что я диву давался: откуда во мне это?

Женился отец молчуном, молчуном увёз маму в Таёжное на рудник «мыть моноцит», работал шурфовщиком в Саянах в Аскизском районе на Тёе. По тайге протаскал маму всю молодость, пока не родилась сестра. Маме можно поклониться зёмно за её верность отцу и терпение, за веру в него. Отец как-то, уже будучи стариком, сознался: «Любил я твою мать всю жизнь, жалел. Вера её в меня помогала и шурфы бить, и обозы по тайге водить...»

– Драчливее твоего отца парня в деревне не было, – сокрушалась мама. – На праздник, было, хоть в новое его не одевай: никому не уступит. На шурфовке – всегда в передовиках ходил, и на гулянке первый. Ворот в зубы зверем схватит, тут уж его берегись. В ключья рубаху на нём изорвут, но не поддастся, отметелит любого. Я за отцом твоим как за каменной стеной жила везде.

Жена мне первые годы полуверы вязала. До первой драки. Всё «правду искал» и утверждал кулаками. А ведь понятия не имел тогда, что отец таким же «кулачным правдоискателем» в молодости был. Уехал из родительского дома учиться в Томск после восьмого класса. Улица и общежитие воспитывали. Однажды в отделение милиции меня забрали из общежития. «Думаем, кто там, в общаге погоду наводит?! – удивился старшина. – А тут и смотреть не на что». Да так ребром ладони по шее врезал без жалости, что запомнил я этот «урок» на всю жизнь. Росточка я был незavidного в юношеских своих годах. Тяжёлый физический труд на Севере и подтянул к взрослой силе.

Глаза отца

Порою мне мнится, что без отца рядом я и дня не жил. Его присутствие ощущалось знанием, что при любых обстоятельствах отец всегда поможет. Чему ему меня было учить? Жизнь в среде настоящих людей и мужчин всему научила. Сам уже родитель взрослых детей. Но взгляд его удивительных глаз возникал мгновенно в сознании так ярко и явственно, когда подходил в каких-то делах край, что совестно перед отцом становилось. Хотел я того или нет, но однажды, ясно поняв и поверив в своё дело, которое я делаю не час, не два, а теперь уже всю жизнь, судьба властно выдернула меня из намеченного мною круга.

Моё ремесло без крепкого образования не осилить. Отец сказал: «Учись, сынок, поможем с матерью». Не эти бы его слова, не его уверенность, что и это «дело» я освою добросовестно, не стал бы я биться три года подряд лбом в двери Литературного института. Теперь это очевидно: без поддержки отца – не пошёл бы и по пути писательства. И не одна мне ведома творческая судьба, которая оборвалась на взлёте без любви родителя, без его веры в своё чадо.

Вторым таким «Родителем» для меня стал в институте мой руководитель семинара прозы профессор Михаил Петрович Лобанов. Человек удивительно похожий на родного моего отца. Не внешностью – глазами, мужественной сдержанностью, пониманием и любовью человека и к человеку.

И все сердечные слова, сказанные об отце, в равной степени можно отнести и к Михаилу Петровичу. Редко так бывает. Но бывает.

Умирал отец тихо, никого не беспокоя своей адской болью. По ночам скрипел зубами, ворочался, не спал, смотрел пристально на светлое пятно на потолке – от фонаря с улицы. Апрель завершался, и необходимо было улетать на Индигирку. Билет на самолёт куплен, но покоя душа не знала. Отец бодрился, прожил он после операции два года. Я ночевал в его комнате на полу и тоже не спал по ночам. Молчали. Он тихо радовался.

– Теперь, сынок, я за тебя спокоен, – хрипловато тянул он задумчиво слова. – Я не смог тебе помочь, хорошие люди помогли, квартиру тебе обеспечили.

Я понимал его. Молчали. Его мужские руки перевернули за долгую жизнь «земной шар», если весь уголь, какой он перекидал в топку, да мешки, которые проехали на его плечах, сложить вместе – «по весу», уточнял отец. Великий труженик, он на копеечные заработки работяги, бережливостью мамы всё-таки достиг в жизни чего хотел. А хотел он немного. Бабушка рассказывала, что «Коля мечтал в подростках жить в городе, заработать на мотоцикл, построить свой дом». Дом отец построил не один, мотоцикл у нас появился, когда я пошёл в первый класс.

Поездили они с мамой достаточно: жили в Кривом Роге, на Северном Кавказе в Невинномысске. Но неизменно возвращались в родные края, пока отец не остепенился и не вошли они новосёлами в кооперативную квартиру. Отец страдал, когда звал меня с Севера домой. Ехать было к кому, но жить в двухкомнатной квартире родителей табором не получалось. Я и не ехал. Развал страны сделал переезд на родину вообще невыносимым. Безденежье было и там, хоть всё разрушалось не так заметно. И благодарность отца «добрым людям» была не просто словами, а его выстраданной болью и облегчением от этой боли.

За пару лет до этого разговора с отцом случилось в феврале на Индигирке вот что.

– Валера, я знаю, что тебе тяжело. Приходи, потолкуем. Я тебе помогу. – Телефонный звонок этого человека был для меня неожиданным и неожиданным. Мы даже не знакомы, только на расстоянии. Звал «потолковать» Клеймёнов Николай Николаевич, председатель старательской артели, богатейшей в Якутии на Индигирке, известный среди золотодобытчиков не менее Владимира Туманова (друга Владимира Высоцкого).

Начался девяносто второй год лютыми оймьяконскими морозами. Морозный пар над долиной Индигирки между высоких гор стоял такой густой, что в пяти шагах уже ничего не различишь. Рано утром пик температуры до шестидесяти: холод прошивает овчину полушубка до костей, дышать нечем от кислородного голодания среди гор.

Идти до базы старателей через весь посёлок, двухэтажная блочная контора артели в соседстве с Колымской трассой. Рабочий день у старателей с восьми, «конторские» собираются к девяти. Глубокая ночь для Крайнего Севера. Днём солнца нет, светает на три часа белого времени. Навершие зимы – февраль на Полюсе холода – огромной нашей планеты.

Кабинет председателя в двухэтажном доме, имеет отдельный подъезд с высоким крыльцом и глухой дверью. От окна – на длину кабинета до входа в контору – широкий стол. Клеймёнов сидел в кресле спиной к окну. И среди старателей он выделялся великаном Аттилой. «Вождь» – в глазах соратников по золотодобыче. И «батя» – известный мне по рассказам старателей. Полный кабинет людей. Галдёж.

– Тихо! – И наступила могильная тишина. Случись это летом, муху слышно стало бы. Здесь же вслед его голосу запели хрустальные брюлики на люстре под высоким потолком: такой грозно-мягкий баритон.

– Вот, Сан Саныч, пришёл русский писатель. У него есть то, чего мы с тобой не купим на всё наше золото, – душа! Придумай ему должность, положи оклад, и пусть он дальше занимается своим делом. Пустяками человека не беспокоить.

Сказал он это своему заместителю так ровно и просто, как давно решённый вопрос. Мне уступили край стола и стул. Заместитель подал через стол чистый лист бумаги.

– Распишись, но число не ставь, – попросил он. – Текст напишем сами...

Народ схлынул быстро. Остались мы в кабинете с глазу на глаз. Клеймёнов поднялся из-за стола и протиснулся между столом и стеной к карте СССР.

– Валера, скоро русские начнут отсюда разбегаться. Тяжёлые времена всех нас ждут. Вот карта страны. Ткни пальцем в любой город, и я куплю тебе там квартиру. Проплачу из своего, председательского фонда артели.

Я помолчал, поражённый таким предложением.

– За какие красивые глаза вы мне помогаете?

Мне, конечно, было многое известно о людях из среды старателей. Клеймёнов завидно, по отзывам людей, на порядок выше стоял своих коллег-председателей. Золотодобывающая артель – такая мельница, что любого сотрёт в порошок, если станешь там показывать свой нор. И уж точно – работа там не для поэтов. Ты там «никто» и звать тебя там «никак». У Клеймёнова работать было безопасно людям в том смысле, что он сам любил неординарных людей, любил их выслушать и не обижал. А боялись его до обмороков и трепета. Гигант внешне, он и в делах и поступках никогда не проявлял мелочности, не жил злопамятным и сволочным. «Каждому – своё», – вершил он справедливо.

Клеймёнов вернулся к окну и всмотрелся в туманную ночь за тёмным стеклом... Идёт пятнадцатый год, а я таким его всё и вижу: Аттилой с густой, огромной седеющей русой бородищей по грудь. С умными самородками глаз. Кряжисто-рослого, лобастого, с залысинами, под спело-льняными кудрями. Русский мужичище с Иртыша. Потомок казаков атамана Ермака. А редкий баритон голоса таков, что слушать звук произносимых им слов наслаждение для души. До этой встречи я однажды слышал уже его голос. После армии жизнь с женой не заладилась. Решили развестись. В день предстоящего развода топтались мы с ней за деревьями северной акации во дворе поселкового суда, окна которого смотрели прямо с берега за дорогу в Индигирку.

Мы ждали окончания процесса. Ждали, когда нас пригласят. Ждали на солнышке майском и уже решили, что разводиться нам ни к чему. За кустами не видели людей, вышедших из здания после процесса. Но поразил баритон голоса и его гулкая раскатливость летней грозы. Я выглянул из-за тишка. Говорил он, Клеймёнов. И речь его была так интересна и будоражила слух и душу, захватывала мелодией тембра, что я даже тогда позавидовал: «Был бы писателем, обязательно бы написал о нём книгу». Подумал так и позавидовал, истинный бог, не выдумываю.

После примирения мы уехали с женой в тайгу на геофизические работы. Но голос этого человека, его могучий облик Аттилы запал в душу навсегда. Прошло более пяти лет, прежде чем случилось то, что случилось: я начал писать. «Золотая Индигирка», этот край вечной мерзлоты, принял в свою «ледяную преисподнюю» миллионы судеб «Дальстроля». И только чистое золото – самородки, такие мамонты, как Клеймёнов, не поглотились памятью людской и временем.

Горный хребет Черского, посёлок Билибино, как и мыс Дежнёва, – равнозначны и равноценны именам и фамилиям, которые носили эти первопроходцы Севера. Мы пришли за ними спустя сто двадцать лет. Я искал это золото, Клеймёнов его добывал. Как мы жили? Главный вопрос для северянина. Ибо там, за «Полярным кругом», будь ты хоть семи пядей во лбу, но сволочь по жизни, тебе никто и чаю от костра не предложит. Поэтому я и задал для меня не праздный вопрос.

– Валера, все эти годы, как только появились в газетах и журналах твои рассказы, я наблюдал за твоей жизнью. Нравится мне твоё отношение к человеку. Правильно живёшь. И я не хочу, чтобы ты, талантливый русский писатель, здесь спился и сгинул от безнадёги. Мне не трудно тебе помочь. Хочешь, сделаю богатым человеком?..

Я подумал – и «богатым сделаться» отказался.

– А квартиру – где? – переспросил вроде как себя вслух. – На родине, конечно.

Разговор был неожиданным для меня и тяжёлым, как золото. Впервые я столкнулся с такой бескорыстной оценкой своего литературного ремесла. Я ещё даже не состоял в Союзе писателей СССР, хотя в Союз писателей Якутии меня уже приняли, и ждал решения приёмной комиссии в Москве.

В августе я прилетел в Канск заключать «договор» с трестом «Канскпромжилстрой» на «долевое участие в строительстве дома», который сдавался в марте следующего года. Истину сказал Метерлинк, когда утверждал, что «родными они рождаются», что, «выходя из дому, Сократ встречает Сократа, а Иуда – только Иуду, что разум рационального Сократа не сделаешь Моцартом».

Генеральный директор строительного треста Виктор Григорьевич Устинов в Канске и был тем «Моцартом», которого имел в виду Метерлинк. При всей своей кажущейся простоватости, наивности и своим малом росте Устинов был гением в человеческих взаимоотношениях. Характеристику Вик-

тору Григорьевичу Устинову лучше русского философа Василия Розанова и не дашь: «Мера нужна, главным образом, в человеческих отношениях. Она одна им сообщает красоту жизни. Много ли есть людей, которые её выдержали?! Люди, красиво прожившие жизнь, так же редки, как и великие поэты и музыканты». Редкой порядочности человек Виктор Григорьевич Устинов. Кто знает «меру» человеческой душе, тот знает и меру человеческих отношений, сообщает красоту жизни рядом живущим.

Подружился я с генеральным директором градостроительного треста. Договор мы оформили без проволочки... на две квартиры. В артели у Клеймёнова работал горным мастером мой земляк из Красноярска. Он и намекнул мне при отъезде моём в Канск, что в артели ему давно обещают жильё «на материке» за счёт артели. Я и расстарался.

Клеймёнов, изучив договор при встрече, захохотал так раскатисто, будто минутой назад потерял всё своё состояние и ни о чём не жалел. Надёжный смех счастливого, здорового человека. Наверное, что-то похожее испытывал и А. С. Пушкин, когда, закончив последнюю строчку «Бориса Годунова», смеялся и хлопал себя по ляжкам: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!»

– Боченину-то за какие заслуги? Хоть бы посоветовался со мной. Ладно, дело сделано. Проплачу. А тебе Боченин пусть до смерти свечу в церкви ставит «за здравие» – за такую царскую заботу. Мне для него и гвоздя ржавого жалко: хитрый, лодырь. Ай да поэт, добрее Папы Римского оказался. – И опять «раскаты летнего грома» беззлобные.

Деньги за две квартиры Клеймёнов проплатил незамедлительно. В марте следующего года, по звонку Устинова, мы прилетели с моим земляком в Канск получать ключи от квартир. Он улетел, а я тянул с отъездом.

Отец днями проводил в новой квартире один. Сидел у кухонного окна и обречённо смотрел на город, который он любил и в котором его знали и любили, уважали. Врагов отца я не знал.

Ночевал я в новой квартире редко. Всё на полу в комнате отца, рядом с его кроватью. Он не спал, скрежетал зубами от боли. Тело приняло изжелта-суховатый оттенок. Болезнь добралась и до печени. Отец умирал. Но не жаловался на боль, как бы стесняясь причинить нам с мамой лишние хлопоты, сторонился нас и сидел последние дни до моего отъезда в своей комнате. Через пару дней мне уезжать. Но я не мог поверить, что всё так просто: жил человек и умер. Будто так и надо. Не мог бросить отца в беде одного. Матери я не сказал, что еду к лечащему врачу отца.

– Он у вас и неделю не проживёт, – было мне сказано честно. Из онкоцентра я поехал в кассы Аэрофлота и сдал билет.

Отец ждал меня у окна в своей комнате. Сидел пригорюнившись, опершись локтем в подоконник, щекой на ладонь. Взгляд его, всегда так мною любимый, был ясен, но испуган... за меня.

– На тебе лица нет. Что с тобой? – увела за рукав на кухню мама.

Таиться не стал. Обнялись с мамой и заплакали.

– Он знает. Мы с ним обсудили, как гроб украсить. Кого вызвать из родственников. Водки я уже набрала на поминки. Тебе рвать душу не хотели. Отец ждал твоего отъезда. Тогда уж помирать согласен.

К нам он в кухню не пришёл. Пошептались с мамой, высушили слёзы, только после этого я вернулся к отцу. Но разве от отца душу спрячешь. Я сидел рядом, молчал и плакал. Мама тихо рыдала на кухне. Отец сухими глазами смотрел на весеннюю улицу. Ветрище рвал голые ветви тополей под окнами до заломов сучьев. В открытую форточку слышен был стук вагонных колёс о рельсы далёкой железной дороги, тонко пахло шпалами этой дороги, в небе солнечно и светло. А тут? Умирать. Хоть и не пора, всего шестьдесят шесть, но приходится. С Богом не поспоришь, все в Его воле. Отец хоть и был крещёным в младенчестве, креста нательного никогда не носил. Одет он был в выцветшую офицерскую рубашку. Ворот расслаблен до третьей пуговицы, и светился теперь уже на его крепкой внешне ещё груди простенький, дешёвенький крестик на шерстяной нитке-гайтане.

– Умирать, сынок, не страшно, – повернул он в мою сторону тёмное от мятежных мыслей лицо. – Страшно вас одних на земле оставлять. – И в словах этих была такая непостижимая правда, что и дышать стало нечем: без него на земле теперь за всех в ответе буду первым я, его сын и его смысл жизни на земле.

Умер отец на рассвете. Умер тихо, стиснув от боли зубы, чтобы никто не услышал его прощального и предсмертного стоны сожаления...